

1. бар 01.05.15

— Летом восьмого года я был спокоен, весел, уверен в себе и с лёгкостью выдержал вступительный экзамен. Мать с отцом были рады, да и ты тоже. В первую неделю августа пришёл ответ, а в сентябре я уже шатался по аудиториям и внимательно (чаще нет) слушал профессоров. Город, оставшийся в моём распоряжении, впечатлял красотой и гармоничностью. Ты могла заметить: он совсем не похож на Трих. Между районами есть чёткие границы, но они гораздо больше отличаются от всех остальных мест на свете, чем друг от друга. Каждый раз, думая о нём, я представляю небольшой плотный тёмный камень, вроде мохового агата. Улицы — прямые солнечные лучи, стремятся слиться с другими, образовать солнечные пятна-площади или же разбиться о набережные. Жил я (как счастливый обладатель студенческого билета) в Центральном районе в здании по диагонали (через реку, конечно же) от Университета. В восточной части находился Заречный район, в северной — Парковый. На западе был Порт, а южный район назывался Спальным. Дни, о которых пойдет речь, в моей памяти сплелись в плотную цепочку. Безусловно, вокруг происходили ещё какие-то события, но я не запомнил. Происшествия этих нескольких месяцев (с февраля по октябрь — смотри-ка, чуть дольше полугода) до сих пор стоят перед глазами. Воспоминания оттуда ярче, чем из последних дней. Даже ярче, чем из детства. Кларенс замолкает на минуту. Закуривает — нужно перевести дух. Когда он говорит, не смотрит на меня — перед собой смотрит, в стену. Никуда не смотрит, зрачки внутрь головы повернуты. — Сигареты какие-то странные. — Это гвоздика. — Спасибо. Когда ты пришла, Мария, я тебя не заметил. Мария, как в старом мюзикле — Мария, Мария, Мария. — Здравствуй, Мария, я налил тебе выпить. Люди ушли, их нет, ты смотришь в зеркало за моей спиной. Я спрашиваю: — Будешь ещё? Ты киваешь. Я так давно не видел тебя, Мария, и я говорю тебе: у меня всё хорошо, всё отлично, в универе, в баре, с друзьями. Всё хорошо, я уже привык, так привык, как будто и не было никогда ничего другого (всё очень плохо), с понедельника по четверг лекции (никто, кроме меня, туда и не ходит), каждый вечер со среды по субботу — с пяти до двух часов ночи — работа.

— Весь сентябрь я выходил из дома в солнце. Дверь была на юго-восточной стороне, окна моей комнаты — тоже. Каждое утро в глаза било солнце. Приятное ощущение. Я просыпался, пил кофе в забегаловке на углу, шёл на лекции. После — гулял, смотрел на птиц. Однажды забрёл далеко за реку, куда-то в промышленные (будто заброшенные) кварталы. Там, знаешь, дома в три раза старше нас с тобой, обшарпанные, кирпичные. Кирпичи все в выбоинах. Дороги между ними — широкие, грязные — для грузовых машин. Неровные, полно луж. Но в сентябре было сухо, я полдня ходил меж заброшенных заводов и залипал на стены. Там был такой, знаешь, это называется стрит-арт. На грязных бордово-рыжих кирпичах светлые заплатки и сверху на них баллончиками — рисунки, надписи. Завораживает. У нас тоже такое есть. Где-то на северной окраине. Так вот, я смотрел на граффити, некоторые фоткал, залип окончательно. И тут появился Леонард. Я киваю. Леон у нас художник, чёрт бы с ним. — Он их нарисовал? — Не совсем, — улыбается на секунду, — он их закрашивал. Не все, но самые, как бы назвать... самые недостойные, по его мнению. Он сказал, стен не хватит на всех. Нужно думать, когда тратишь пространство. Нечего писать на этих прекрасных стенах злые слова. Так он мне сказал. Он подумал, что я один из этих мародеров. Мы разговорились, ну понятное дело. Живых художников я видел редко, ну как редко, каждый день в универе, но это было не то. А Леон оказался тем. Тем-тем. Потом я долго спрашивал, знает ли он, кто нарисовал то или это. Там был огромный кит, например. Прямо напротив входа. Громадный синюющий кит. Мёртвый, на берегу лежал. Леон его и нарисовал. И мне ещё дерево понравилось (такое, с электричеством между веток). Тоже его работа. Я их сразу выделил из остальных, как самые сильные. Очень талантливый парень. У него есть свой почерк, знаешь, своя манера. Легко заметить. — Ничего не понимаю в этом. — Врёшь. Качаю головой. — Конечно, врешь. Ты же рисовала. — Да когда это было. И вообще, знаешь, своё делать проще, чем оценивать других. На себя смотрю и сразу понятно — где хорошо, где криво, где шероховатость, где перспектива поломана. — Перспектива поломана. К. зависит на несколько секунд. — Так вот, — продолжает, — у меня появился друг. Жизнь преобразилась. Не то чтобы раньше у меня не было друзей — не было таких друзей. Единомышленников. Как будто до Леона я ни с кем не говорил. Каждый день говорил и молчал одновременно. Ну и конечно, были другие люди. Чьи-то друзья, партнёры, родственники, старые одноклассники. Другие художники. Я так злюсь на них, знаешь. Теперь, когда он пропал. Смотрю вопросительно, сощуриваю глаза. — Никто не рисует на том же уровне. Здесь даже не нужен какой-то особенный разум, просто техника. И никто не рисует на том же уровне. Все только ходят по барам и треплются об искусстве. Как мы с тобой. Так вот, — делает вдох, — до февраля не происходило ничего, достойного упоминания. Я учился, мы гуляли, Леон рисовал, я писал свои эссе. В январе была выставка в универе (куча натюрмортов и пара бессонных ночей). Ничего

интересного. В феврале же Леон впервые увяз в поверхности. Поднимался по лестнице и ноги стали прилипать. Это он так сказал. «Проваливаюсь в ступеньки. Они где-то на уровне моего колена». Не приступ, нет, просто надо меньше есть тех таблеток. Я, например, никогда не прилипал телом, только взглядом. Даже когда мы сидели, знаешь, в многоэтажном доме на центральной лестнице, наверху. На самом верху, возле выхода на крышу. Лестница была белая, и мы сидели там и не говорили. И всё стало белым, я подумал о музыке, и зазвучала музыка, и Леон слышал её. В тот день (это было в марте) наступило утро. Посередине дня, в начале весны, в каком-то глобальном плане пришло утро. Мы молчим. Утро, надо же. Я думаю, что К. перескакивает с темы на тему. Мы часто ходили в тот бар. Здесь недалеко (здесь всё недалеко) — улицу перейти, свернуть налево и потом направо. Бар Роз. И там был этот парень, его все называли Смерж. Леон с ним знаком ещё с какой-то старой тусовки у фонтана. Не знаю, меня ещё не было в городе. Так вот. Мы встречались в баре и брали таблетки у Смержа. Иногда таблетки, иногда порошок. Ещё — капсулы. И марки — ты не знаешь, такие клочки бумаги. На них картинки. Первую, которую я съел, я помню — на ней была стрекоза. И я всё понял. Мне становится смешно. — Что ты понял? У Кларенса меняется взгляд. — Давай не сейчас. — Окей, — закуриваю. А пепельницы в этом баре все разные — прозрачные, стеклянные, в форме птиц и кораблей. Придвигаю к себе стекло... нет. Придвигаю к себе журавля. Люблю журавлей. — Прости за оффтоп, но... К. выплывает из мыслей. — Да? — Откуда у вас эти пепельницы? — Их один из наших сделал. Ну как из наших — из училища святого Планка, они там занимаются пространственным творчеством. Инсталляции, скульптура. Лучшее училище в стране. — Понятно. Извини. Продолжай. К. кивает — Закидывались прямо там, потом часто ходили гулять. Смотрели на дома, на людей. Анализировали происходящее. Потом Леон шёл домой и рисовал. Много рисовал. А как-то мы сидели на набережной и он рисовал, а я просто смотрел. В другой день мы нашли книги. Просто на улице. Старые страницы со стихами столетней давности. Раритет. Во время этих прогулок что-то росло во мне и окончательно сформировалось где-то к июню (а может, и к маю, здесь холоднее, чем дома). Это было чувство, такое чувство, о котором обычно не говорят. Смотрит осторожно, будто я ударю. Отвечаю молчанием и спокойным взглядом. Успокойся, не беги, я тебя слушаю, я проехала ради этого две тысячи километров, я не буду смеяться. — Зависть, — резко выдыхает. — Я понял, что завидую. Не Леонарду, конечно, он был слишком близко, чтобы я мог чувствовать такое. Другим людям: тому, кто прожил жизнь в одной комнате, никуда не уезжая; тому, кто бросил универ, снял дешёвую квартиру, целыми днями накуривается, читает старых поэтов, выходит на улицу только в ближайший магазин; тому, кто упал в ядовитый брак, устроился на мрачную, противную работу и каждую свободную минуту ноет о тяжести бытия; тому, кто собрал свою группу и выступает по грязным клубам и никто его не слушает и не услышит, потому что вместо музыки там — шорох шагов, шум моря; но он уверен, что делает важное дело. Тому, кто считает, что научился говорить на языке реальности, и спит на полу, ездит на машине, которую кто-то подарил, а из соседей у него только большая чёрная собака, похожая на водного дракона. Тем, кто старше меня, тем, кто младше меня, — К. сверкнул взглядом в стену, — всем завидую. Жизни чужой завидую, жить хочу. Я восхищался каждым человеком, которого встречал. Меня завораживала любая судьба. Внутри что-то загорелось. Звучит так глупо, извини. Что-то загорелось возле сердца. И горит. И тянет куда-то, не дает уснуть. Смотрю на него неотрывно, К. как будто отодвинулся на шаг. — Я начал рисовать, знаешь. Такие картины без сюжета, просто цветные (и чёрно-белые) линии. Пытаюсь передать искажённое пространство. Как будто стены дышат, их кто-то сфотографировал, а я обвожу. Прости, что я так рвано. — Ничего, я понимаю. А что было дальше? К. улыбается. Улыбается, успокаивается, затихает. — Ты не поверишь, дорогая Мария, — говорит медленно, делает паузы между словами. Берёт сигарету, кладёт локти на стойку, а её держит указательными пальцами, смотрит в стену (в пустоту, в себя), улыбается, — но дальше не было ничего. Он пропал, вот и всё. Перестал со мной говорить, куда-то уехал. Другие говорили, он болен. Он не вернётся, они говорили. Его больше нет, они говорили. Ты не видел Леонарда? Нет. Я перестал их слушать. Он появился в сентябре и исчез к августу. С тех пор я один. Он показал мне стрекоз, оставил это сильное чувство и пропал. Я не мог нормально реагировать, вёл себя как придурок. Вроде бы. В памяти — провал. Я смотрю на стеклянную пепельницу в форме журавля и не знаю, что сказать. Я ждала другого, я всегда жду чего-то другого. — Слушай, так бывает, — я знаю, что могу этого не говорить, но мне хочется его успокоить, — люди пропадают, это нормально, люди пропадают и потом не появляются, и ты думаешь, что их и не было никогда, и такое происходит постоянно, чаще, чем нам всем бы хотелось. — Да. Просто со мной такое впервые, — К. становится тихим и грустным, — я так и не понял, что за историю рассказал тебе только что. Была осень, потом была весна, потом зима и теперь снова весна, и мне не с кем говорить. Но это ничего, семнадцать лет до нашей встречи я молчал. И теперь помолчу. Не знаю, что сказать, закуриваю. — У меня нет даже таких историй. К. кивает. Сосредоточенно щёлкает зажигалкой. — И что ты собираешься делать сейчас? — Я купил билет в Трих. На вечер среды. В четверг днём уже приеду. — Мать будет рада.

Кларенс закрывает бар, мы выходим наружу. Совсем взрослый.

— Пока, — киваю направо, — мне туда.

Кларенс глазами показывает влево. Обнимает меня. Кажется, он стал выше. И похудел.

— До встречи.

Под огромной яркой (как прожектор) луной мы расходимся в разные стороны.